Глава 1

От Мали осталась только баклева.

Никто не знал, что это такое. Но вкусно.

Сто грецких орехов (дорого, конечно, но ничего не поделаешь — праздник) пропустить через мясорубку. Железная, тяжеленная, на табуретке от нее предательская вмятина, ручка прокручивается с хищным хрустом, отдающим до самого плеча. Когда делаешь мясо на фарш, разбирать приходится минимум трижды. Жилы, намотавшиеся на пыточные ножи. Но орехи идут хорошо. Быстро.

Калорийных булочек за девять копеек — две с половиной.

Смуглые, почти квадратные, склеенные толстенькими боками. Темно-коричневая лаковая

спинка. Если за десять копеек, то с изюмом. Ненужную половинку — в рот, но не сразу, а нежничая, отщипывая по чуть-чуть. Некоторые еще любят со сливочным маслом, но это уже явно лишнее. Смерть сосудам. На кухню приходит кошка, переполненная своими странными пищевыми аддикциями (зеленый горошек, ромашковый чай, как-то выпила тайком рюмку портвейна, наутро тяжко страдала). Почуяв изюм, орет требовательно, как болотный оппозиционер. Приходится делиться — но ничего, без изюма калорийные булочки даже вкуснее. Теперь таких больше не делают, а жаль. И кошка давно умерла.

Булочки надо перетереть руками, поэтому важно, чтобы были вчерашние, чуть подсохшие. Еще важнее не забыть и не слопать их с утра с чаем. Потому в хлебницу их, подальше, подальше от греха. Чревообъедение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бряцающий щит и меч святости. Прости мя, Господи, ибо аз есмь червь, аз есмь скот, а не человек, поношение человеков. Приятно познакомиться. Мне тоже. Протестанты, кстати, заменяют уныние ленью — и это многое объясняет. Очень многое. Ибо христианин, которому запрещено унывать, не брат христианину, которому запрещено бездельничать.

И перерезанных, замученных, забитых во имя этого — легион.

Аминь.

Конечно, булочки — это условность. Позднейшая выдумка. Чужие каляки-маляки поверх строгого канонического текста. Маргиналии на полях. Изначально был только мед, грецкие орехи, анисовые семена. Мускатный орех. Булочки приблудились в изгнании, да и не булочки, конечно, — хлеб. Вечная беднота. В ДНК проросший страх перед голодом. Супермаркеты Средиземноморья до сих пор полны сухарями всех видов и мастей. Рачительные крестьяне. Доедаем всё, смахиваем в черствую ладонь даже самую малую крошку. А эти и вовсе были беженцы без малейшей надежды на подаяние. Какие уж тут булочки? Ссыпали в начинку все объедки, которые сумели выпросить или найти. Радовались будущему празднику. Готовились. Волновались.

Это мама придумала добавлять булочки? Мамина мама, может быть? Она говорила? Ты помнишь?

Смотрит в сторону. Ничего не говорит. Опять.

Ладно. Тогда варенье из роз.

Когда-то достать было невозможно в принципе. Только обзавестись южной родней, испортить себе кровь и нервы всеми этими хлопотливыми

мансами, истошными ссорами навек, ликующими воплями, внезапными приездами всем кагалом или аулом (в понедельник, без предупреждения, в шесть тридцать утра). А Жужуночка наша замуж вышла, ты же помнишь Жужуну? Не помню и знать не хочу! Но вот из привезенного тряпья, из лопающихся чемоданов с ласковым лопотанием извлекается заветная баночка. Перетертые с сахаром розовые лепестки. Гладкая, едкая горечь. Вкус и аромат женщины. Но неужели нельзя было просто посылкой, божежтымой?!

Варенья из роз нужна столовая ложка — не больше, потому что...

Черт. Телефон.

Да, здравствуйте. Нет, вы поняли совершенно неправильно. В вашем случае уместнее три миллиона единиц, а не полтора. Нету? Значит, придется два раза по полтора. Сами знаете куда. Сочувствую.

Да. До свидания.

Итак, розы. Надо сразу признаться, что никакой южной крови и родни у меня нету. Я настолько русский, что это даже неприятно. Чистый спирт, ни на что совершенно не употребимый. Даже на дезинфекцию. Чтобы выпить или обработать рану, придется разбавить живой водой. Иначе сожжешь все к чертовой матери. В де-

вяностошестипроцентной своей ипостаси спирт годен разве что для стерилизации. Неприятно осознавать себя стерильным. Неприятно осознавать себя вообще. Хоть капля другой крови придала бы моей жизни совсем другой смысл. Но — нет.

Позвольте представиться — Огарёв Иван Сергеевич.

Нет, не родственник того и не товарищ — этого.

Иван Сергеевич — тоже всего лишь пустая реминисценция.

Я врач.

Всего-навсего врач.

Еще в баклеву кладут вишню. Вернее, вишневое варенье, и тоже особое — без косточек и без сиропа, практически сухие, темные, гладкие ягоды, плотно заполнившие литровую банку. Одна к одной. Косточки вынимали шпилькой. Помните, были такие? Изогнутая английской буквой *U* проволочка, чуть волнистая, с крошечными шариками на острых концах — чтобы не поранить тонкую кожу. Вскинутые локти, быстрые движения слепых пальцев, укладывающих на затылке узел, птичий наклон головы. Коса. Пробор. Завитки

у низкого нежного лба и сзади, на шее. Быстрый невнятный вопрос сквозь смеющиеся, стиснутые в зубах шпильки. Прекраснее женщины, которая поправляет прическу, только женщина, в которую ты влюблен. Как жаль, что они все стригутся теперь, дурочки.

У Мали были длинные волосы. Сама Маля — была.

Чистить вишни долго — кропотливая работа, лучше вдвоем, а то и втроем — и все равно перепачкаешься по уши, сок потом не вывести ничем, уйди, не вертись без конца среди женщин, ты же мальчик, как это ничем, дорогая, если отлично выводится? Ну, знаешь, берешь пол чайной ложки лимонки...

Я бреду, то и дело оглядываясь и нарочно волоча ноги, загребая сандалиями песок, сухую хвою, липкие невидимые призраки будущих маслят — чужая подмосковная дача, хрупкие деревянные стропила прошедшего детства.

Я — мальчик. Меня — выгоняют. Мне — отказывают.

Я уже понимаю, что это — трагедия, но еще не догадываюсь, что так будет всегда.

Выпотрошенные вишни кладут в таз — большой, медный, с деревянной ручкой — и варят по новой для Агафьи Михайловны методе, без при-

бавления воды. Помните, в “Анне Карениной”? Да нет, откуда вам помнить... Женское общество на террасе, шитье распашонок, вязание свивальников. Беременная Кити. Анковский пирог. Лимоны, сливочное масло, ненависть — прямо с погреба, похолоднее. Знал ли бедный Николай Богданович Анке, милейший доктор, профессор Московского университета по кафедре фармакологии, общей терапии и токсикологии, тайный советник, род. в Москве, в купеческой семье, 6 декабря 1803 г., ум. в том же городе 17 декабря 1872 г., что пирог по его рецепту обретет такое страшное бессмертие? Любовь Александровна, в девичестве — о, эта музыка незаконнорожденной страсти! — Ислявина, в замужестве — о, эта черствая проза супружества! — Берс. Дражайшая и вечно беременная супруга Андрея Евстафьевича Берса, тоже врача.

Коллеги. Ядовитое братство.

Ваша точка зрения не выдерживает никакой критики, батенька. Ваша практика — заноза в моей заднице. Ваш успех — результат прискорбной глупости публики, доверяющей самое ценное, что у нее есть, — собственное здоровье — невежественным шарлатанам. Вы прескверный диагност. Но когда настанет ваша очередь умирать, принимать мелкими глотками

(до, и после, и вместо еды) свою порцию земных страданий — мы все соберемся у вашего скорбного одра, все, все до одного, и, сдвинув лысые лбы и потрепанные крылья, будем лечить самоотверженно, истово, ни на что не надеясь, и все-таки молясь, и не беря платы, нет, нет, со своих мы мзды не берем, за своих стоим на коленях бесплатно, потому что нас и так слишком мало, ничтожно мало, настоящих, избранных жрецов истинного бога. Врачей.

Тридцать минут. Тридцать пять.

Качайте вы, коллега, я больше не могу.

Сломанные во имя ускользающей жизни ребра. Замершее сердце. Черные круги. Ледяной пот вдоль спины. Терапия отчаяния. Никаких признаков жизнедеятельности. Мозг умер, когда мы еще и не начинали.

Все равно качайте!

Поздно. Умер.

Поджарен на вертеле за неверный диагноз, убит осатанелой невежественной толпой, отравлен выпитым залпом холерным вибрионом, заражен пациентом, выжжен дотла, забит холестериновыми бляшками, изрезан, истерт до дыр непосильной ответственностью.

Служил, как медный котелок, — пока не прохудился.

Нимбы долой, коллеги! Не стало еще одного врача.

Черт, ну куда же меня опять занесло? Простите.

Итак, Николай Богданович Анке. Анковский пирог. Рецепт, продиктованный Любови Александровне Берс, теще Толстого (Льва Николаевича, разумеется, два других не в счет). Записывала, высунув от усердия черный язык. Что у вас такое с языком, Любочка? Уголь. Березовый уголь. Брала серебряными щипчиками из специальной шкатулки, глотала, давясь, — скрип на зубах, антрацитовая крошка, круговорот углерода в природе, черные страдающие глаза, худоба. Когда-нибудь мы все снова будем алмазами. Через миллион или более лет. А почему же уголь-то, что за странные пристрастия? Восемь детей. Старый любвеобильный муж. Токсикоз. Бесконечный токсикоз. Уголь — всего лишь тихий вариант ненормы, другие на сносях уписывают сырую штукатурку, ломкие карандашные грифели, даже глину. Мать как-то призналась, что, когда ждала меня, ела мыло — глицериновое, полупрозрачное, зеленое, как бутылочное стекло. Один-единственный, почти круглый, обкатанный, как голыш, кусок. Чей-то подарок. Импортное. Эра всеобщего дефицита. Экономила так, чтобы хватило на весь срок. Скребла, нежно нажимая, передними зубами.

По-мышиному точила. Завязывала что-то внутри себя, строительствовала, порождала. Интересно, на что пошло́ это мыло, что из него стало мной? Кровеносные токи? Костяк? Душа, мыльная, неверная, солоноватая на вкус?

Когда б вы знали, из какого сора.

Варенье для баклевы — то, что из "Анны Карениной", без воды, — тоже готовится по анковскому рецепту.

Вы не любите Толстого?

Вы ненормальный.

Мама варила совсем другое варенье — хотя тоже из вишни, кислой, подмосковной. Владимирская, шесть рублей ведро. Красная приторная жижа с редкими ягодами закатывалась в литровые и полулитровые банки. Это на зиму, не хватай! Мне доставались только пенки. Розовые, ноздреватые, словно стремительно застывающая мягкая пемза. Помните? Как они будут лизать это с чаем! Отец предлагал дождаться ужина, не жадничать — ну что ты за свиненок, в конце концов? Иди вымой руки, лентяй. Никогда ничего путного из тебя не выйдет. Приходил с работы, долго сидел в спальне в спущенных по щиколотки штанах, смотрел в стену, переживая какие-то свои взрослые, неви-

данные, неведомые неудачи. Потом шел на кухню и ел гречневую кашу, граненую, гнедую, прикусывая вместо хлеба кругляшом розовой докторской колбасы. Мне такого не давали. То есть давали, конечно, — но колбасу нельзя было есть как хлеб. И вместо хлеба тоже. Только — вместе. Считаные игрушки, потрепанные книжки, брюки, из которых я вырастал прежде, чем очередная получка добиралась до заветного кассового оконца отцовского завода.

Аскетический, выверенный инструментарий советского детства.

Ты уроки сделал?

Нет еще.

Ну что ты за лодырь, а! Непонятно только в кого. А хлеба купил?

Я стоял столбом, ожидая выдачи мелочи, — скомканная в кулаке авоська, ссаженные коленки, растоптанные бурые босоножки из “Детского мира”. Слишком маленький и жалкий, чтобы протестовать.

Чего ждешь? Де-е-енег? С деньгами любой дурак может. А ты без денег купи. Рёва-корова.

Зачем он так делал? Воспитывал мне характер? Пожинал судьбу?

Страшно даже сказать, как я его ненавидел.

И ничего. Ничего не изменилось до сих пор.